

# Бомбежки

**Н**икто не ожидал, что уже через месяц немцы начнут бомбить Москву. Первые бомбежки начались в ночь с 21 на 22 июля и продолжались до осени 1942 года почти каждый день. Дом писателей в Лаврушинском переулке был своего рода “младшим братом” Дома на набережной — оба стояли на берегу Москвы-реки, переглядываясь с Кремлем. Правда, писательский дом был задвинут в переулок Замоскворечья ближе к Третьяковской галерее. Большинство писателей были соседями по дому — здесь жили в разное время: К. Паустовский, М. Пришвин, Вс. Иванов, Б. Пастернак, В. Шкловский, И. Ильф, Е. Петров, Д. Благой, М. Голодный, А. Барто, И. Уткин, С. Кирсанов, Н. Погодин, Ю. Олеша, И. Сельвинский, В. Луговской и другие. Отсюда они выехали — кто в эвакуацию, кто на фронт.

Теперь Москву бомбили каждый день, два раза в день, с чисто немецкой пунктуальностью, кажется, в двенадцать и в восемь вечера, точно уже не припомню. Все ждали этого часа, нервничали, поглядывая на часы, поглядывая на “черную тарелку”, которая неумолимо объявляла: “Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!” А затем следовал утренний вой сирены. В Москве складывался особый военный

быт: магазины закрывались рано, метро переставало работать в шесть-семь часов вечера, и станции и тоннели превращались в бомбоубежища. Но еще загодя тянулись к метро вереницы людей, и у входа выстраивались длинные очереди. Дети с самодельными рюкзаками за спиной, в которых лежала одежда — ведь можно было вернуться домой и не застать своего дома; матери тащили большие мешки и сумки с подушками, с одеялами, чтобы удобнее устроить на ночь детей на шпалах между рельсами. Плелись старики, кого-то катили в инвалидной коляске, даже на носилках несли. Кто-то тащил чемоданы, кто-то связки книг, мужичонка шагал с тулупом и валенками под мышкой; тулуп на шпалы, валенки под голову, с удобством устроится и на зиму сбережет<sup>1</sup>.

В июле 1941-го в Москве создавались группы самообороны жилых домов, учреждений и предприятий. Одна такая группа создавалась на двести — пятьсот человек населения. Если дом был большой, то такую группу должен был организовать каждый подъезд.

С 23 июля начались дежурства на крышах в писательском доме. Борис Пастернак после первого ночного дежурства 24 июля 1941 года признавался жене, уехавшей с детьми в Чистополь:

Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, так же, как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера <...> был в Москве на крыше <Лаврушинского, 17> вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране... Сколько раз в течение прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы, зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> БЕЛКИНА. С. 421–422.

<sup>2</sup> ПАСТЕРНАК Б. *Второе рождение. Письма к З.Н. Пастернак*. М., 1993. С. 158. (Далее: ПАСТЕРНАК Б. *Письма к З.Н. Пастернак*.)

Эту же бомбежку описал Всеволод Иванов из окон своей квартиры:

И вот я видел это впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты — осветили дом, как стол, рядом с электростанцией треснуло, — и поднялось пламя. Самолеты — серебряные, словно изнутри освещенные, — бежали в лучах прожектора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища — сначала рядом, затем на востоке, а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад недалеко от Дома Правительства (Дома на набережной. — *Н. Г.*) — и в 1 час приблизительно послышался треск. <...> Зареву на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство — смерти? — влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9-м этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты<sup>1</sup>.

Сам же Шкловский тоже оставил воспоминание о тех днях:

Мы встретились на чердаке. Встретились Всеволод Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. <...> Сидел я на чердаке; мне очень хотелось спать; я солдат, у меня такая привычка — при бомбежке, если я не занят, спать. У ног спала очень любящая меня маленькая белая собачка с очень плохим характером — Амка. Звонко откупориваясь, стреляли зенитки. Всеволод сказал мне:

— А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами.

Он был спокоен, круглолиц, печален.

Однажды бомба прошла через наш дом.

<sup>1</sup> Иванов Вс. *Дневники*. М., 2002. С. 84–85.

Небольшая.

Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Паустовского.

Когда днем Паустовский вошел в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень желтая канарейка и пела.

Пропевши песню, она упала и умерла: она переоценила свои силы.

Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет.

В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволоду, и брал у него книги, и слушал радио с плохими вестями<sup>1</sup>.

Паустовский переехал из разбомбленной квартиры на дачу к Федину в Переделкино, затем уехал в Чистополь, а потом в Алма-Ату.

В одну из ночей, — писал Пастернак в письме к своей двоюродной сестре, — как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали, и опьяняли<sup>2</sup>.

В начале августа был разрушен дом писателей в Лаврушинском переулке. Об этом подробно написано в воспоминаниях А. Эрлиха:

Ноющий, подобно осиному гуду, стон моторов, рыскающих в недостижимой для глаз и для зенитного огня высоте, не-

1 Шкловский В. *Жили-были*. М., 1966. С. 432.

2 ПАСТЕРНАК Б. *Собр. соч. Т. 5. Письма*. С. 405.

стерпимый свист и вой тяжелых фугасок, каждая из которых, казалось, летела прямо на наши головы, удары и взрывы, так ощутимо сотрясавшие воздух, измучили нас. Двое были ушиблены воздушной волной. Один потерял от слишком длительного нервного напряжения власть над собой — зубы его неудержимо и дробно стучали, он сел возле большой бочки с заготовленной водой и, уткнувшись в нее лицом, стонал сквозь крепко сомкнутый рот. Все остальные “пожарники”-писатели оставались на своих постах. Но многие были уже так измучены, что вряд ли годились в дело. Необходимо было свежее подкрепление. Петров спустился в бомбоубежище подобрать там в помощь человек семь-восемь.

Вскоре он вернулся с подкреплением. Но, как это часто бывает во время налетов, вдруг наступила глубокая тишина. Молчали зенитки, не слышно было больше ни гула, ни свиста, ни разрывов. Мы снова видели над собой мирные, спокойно помигивающие звезды. Может быть, с минуты на минуту по радио объявят долгожданный отбой? <...> По-прежнему было тихо над ночной Москвой. Я отправился на девятый этаж, где всегда в часы налета были открыты обе квартиры, расположенные друг против друга на площадке. Длинные пожарные шланги были привинчены к водопроводным кранам в этих квартирах. Надо было проверить, в порядке ли трубы, не откажет ли водоснабжение в случае необходимости.

В одной квартире жил знаменитый немецкий писатель-антифашист Эрих Вайнерт. Еще издали, с площадки, я увидел его в глубине квартиры — он не спустился в тот вечер в бомбоубежище, — я спросил по-немецки, есть ли вода в системе? Вайнерт ответил, что есть. Другая квартира — К.Г. Паустовского — пустовала: сам писатель находился на Южном фронте корреспондентом от ТАСС, а семья была эвакуирована в Чистополь. <...>

Вскоре мы уже хорошо знали, какие беды наделали две фугаски, почти одновременно сброшенные над нами. Одна уго-

дила в самый дом и, пробив по пути два железобетонных перекрытия, разорвалась на пятом этаже... Изуродованная, дымила щебнем и пылью квартира Паустовского. Такие же разрушения видели мы и в квартирах ниже по этажам, от девятого до пятого включительно. В одной из них разрывом полутонной бомбы снесена была капитальная стена, за зубчатыми остатками которой открылась смежная, из соседнего подъезда, квартира писателя Л. Никулина.

Вторая бомба разорвалась во дворе, причинив еще больше бед: осколками ее были убиты наповал трое и тяжело ранены четверо дежурных из соседнего дома.

Весь двор был засыпан мельчайшими осколками стекол, вылетевших из всех прилегающих окон.

Над городом снова ныли в незримой высоте реюющие самолеты, и опять падали с возрастающими, душу ледящими свистом и гулом тяжелые бомбы. Началась новая волна налета<sup>1</sup>.

В неопубликованной поэме Луговского “Москва. Бомбардировочные ночи” — картина тех дней.

На крышу вызывают командира  
Посреди летающих ракет,  
Трассирующих пуль и пулеметов  
Стоят, раздвинув ночь, прожектора,  
Какой простор, какие песни неба!  
То вспыхивает, то замрет Москва.  
И зажигалки малые, расплавясь,  
Текут, белея, по железным крышам.  
Кругом меня стоит веселый ад,  
Тот фейерверк блистающей природы,  
Та вспышка непонятных, мертвых сил.  
Пронзающие ночь, бегут ракеты.

<sup>1</sup> Эрлих. А. *Нас учила жизнь: Литературные воспоминания*. М., 1960. С. 179–182.

Коричневое облако разрыва  
 Подкидывает ночь. И язычки  
 Паршивые снуют по сизым крышам.  
 Отсюда видно все. Лежит Москва,  
 Безмолвная, зенитками одета,  
 Кольшутся и потухают зданья,  
 Неведомые отсветы играют  
 На затемненных крышах в чехарду.

В первые же дни войны НКВД принимает решение — маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”<sup>1</sup>.

Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит... В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.

Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Перedelкино.

<sup>1</sup> *Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ.* М., 2002. С. 32.

# Цветаева.

## Попытка отъезда

**У** многих людей дома почти целиком разрушены, — пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. — 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере не много посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной — чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше<sup>1</sup>.

Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Граждан-

<sup>1</sup> ЭФРОН Г. *Дневники. В 2-х тт. Т. 1.* М., 2004. С. 478.

скую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или умерить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.

Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.

Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.

26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:

Попомню я русскую интеллигенцию <...>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд — сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации — не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается — для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет<sup>1</sup>.

1 ЭФРОН Г. Т. 1. С. 475.

Счет к интеллигенции — по его мнению, это мечущиеся советские писатели — он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишней раз уколоть этим мать.

В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.

Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовалой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.